

правительством в честь прибывших. Ясно, что союзники были кем то инспирированы. Противники торжествовали после заявления Эрлиша, что союзники считают врагом всякого, идущего против Добрармии... Мы говорили: организуйтесь. Черноморцы, конечно, любили Украину, но признавали ее, как пособницу в борьбе за народовластие, и Кубань на нее не меняли. В Добровольческой армии проснулись империалистические тенденции. Когда обнаружилось грозное движение на Юг советских войск, армия почему-то начала перебрасывать войска в Одессу, Крым, стремясь захватить больше территории... Выдвинутому Радой желанию объединения всех государственных образований, руководители армии стали ставить препятствия. Возникла грузинская авантюра. Разговоры Кубани с Грузией прекратились под угрозой объявления изменниками. Хорошие отношения испортились. Авантюра внезапно кончается вмешательством англичан. Возникает новая. Войскам Горского правительства, борющимся с большевиками, после занятия Терека и части Дагестана, командованием Добрармии предложено разоружиться... Разоружается Карачаевский народ... Раз'единяющая работа ведется в наших с Доном отношениях... Вывод из всего вышесказанного таков: горские народы нам не только не друзья, а может быть и враги; Грузия недоброжелательно относится к нам; Украина захвачена большевиками; Дон в тяжелом положении; союзники помощи не дают. Мы совершенно изолированы чьими то усилиями. Кубанское Казачество поставлено в необходимость головами своих детей платить за грехи разных политических проходимцев... Все приводит к двум заключениям: необходимо немедленно взять в свои руки внешнюю политику и отстранить третьих лиц, нами распоряжающихся. И внутренние дела должны также перейти всецело в наши руки...

Это точное определение „казачьей политики“, „главного командования“, трагического положения Кубани было сделано 12 лет тому назад Рябоволом, почти накануне его смерти, но как его слова живы и имеют глубокий смысл и в наши дни!

Так понимавший цели и задачи Казачества и за них боровшийся Рябовол был убит неизвестными исполнителями тайной, открыто невысказанной воли „командования“. Убийцы Рябовола знали что делали, знали — как больнее можно ударить Казачество. Но и последнее хорошо знало — кем и чем для него был Рябовол.

„И убийство Рябовола окончательно отмежевало кубанцев от командования Добрармии. Прав-во Сушкова, во всем послушное командованию, являвшееся

слепым орудием политики командования Добрармии, под натиском большинства членов Рады, еще 5 мая, подало в отставку“. Образовалось правительство Курганского, перед которым „вопрос стоял весьма ясно и просто: или Куб. Краевое правительство должно было раз навсегда отказаться от идеи федерации, народо-правства и Учр. Собрания, воспринять идею военной диктатуры в лице ген. Денкина и во всем подчиняться командованию в лице его органа гражданского управления — Особому Советанию, что и делало правительство Сушкова, или идти на полный разрыв и путем не дипломатии, а силой оружия отстаивать прерогативы Краевой власти, узурпированных командованием Добрармии...“ (Покровский).

Конечно, если все кубанские политические деятели (Члены Рады) были бы решительными и единодушно стали на защиту „прерогатив Краевой власти, узурпированных командованием Добрармии“, то это явилось бы таким фактором, не считаться с которым „командование“ никак не могло бы. Но вся беда в том, что в Раде и в правительстве было много людей, которые соглашались „во всем подчиняться командованию“, что сводило к нулю значение и власть, как Рады, так и правительства.

— „Понимая свое бессилие, борясь за независимость, кубанцы (правильнее было бы говорить — Черноморцы. С. С.) в борьбе с командованием Добрармии стремились выполнить три задачи — искать защиты в смысле признания их прав за границей, у союзников; создать из краевых образований Дона, Кубани и Терека Южно-русский Союз, вопрос о котором не однократно поднимался во всех казачьих областях. Этот союз, как наиболее мощное государственное образование, конечно, скорее заставил бы командование Добрармии считаться с интересами и желаниями Каз-ва и, наконец, создать свою армию, как реальную силу, и этим исправить свою ошибку, совершенную еще в момент подписания договора. Однако, ни одно из заданий не могли выполнить...“ (Покровский).

К сожалению, не могли выполнить и без некоторой вины части же кубанских деятелей, соглашавшихся „во всем подчиняться командованию“...

Правильно ли были поставлены задачи? Почему они не были осуществлены?

Основная причина, конечно, — искусная работа командования Добрармии, направленная на срыв их. Но Д. Е. Скобцов, признав правильность постановки вопроса, признавая некоторую вину командования Добрармии, как другую серьезную причину не осуществления их, склонен выставить „словесную самостоятельность“ Черноморцев, т. е. как раз тех, которые являлись ревнивыми защитниками этих задач, решительными, прямолинейными их проводниками.

(Окончание следует).

Учур Алексеев.

Под властью красных.

Личные переживания.

(Окончание).

Прибыв в Тихорецкую и простояв там неделю, я решил просить тов. Городовикова, чтобы он отправил меня в мою станицу для поправления здоровья, ибо, видя зверские издевательства красных солдат над калмыцкими беженцами, нечеловеческие страдания своих братьев, ежедневно испытывая от всего этого бесконечные душевные муки, я не мог не заболеть. И действительно, мое душевное состояние было настолько подавленное, что я выглядел совершенно больным человеком. Даже тов. Городовиков признал мое болезненное состояние. К тому же мой „красный начдив“, когда я просил у него разрешения, был в веселом настроении духа (кажется, праздновал „победу“ над „кадетами“) и с удовольствием удовлетворил мою просьбу, приказав старшему секретарю написать мне удостоверение. Секретарь незамедлил написать на пишущей машинке свободный пропуск следующего содержания:

РСФСР
1-я Конная Армия
Кавказского фронта
№ 318.

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

22 февраля 1920 г. Пред'явитель сего красноармеец из штаба 4-й кав. дивизии Ст. Тихорецкая. тов. Алексеев Учур действительно отправляется домой в ст. Батлаевскую, Сальск. округа, для домашнего лечения по состоянию здоровья.

Всем советским организациям и учреждениям предлагается тов. Алексееву оказывать самое широкое содействие, как в пути его следования, так и в его питании.

Что удостоверяется подписями и приложением печати. Начдив (подпись), Военком (подпись) и Наштаб (подпись).

Получив такое удостоверение, я с радостью покинул Тихорецкую 22 февраля на бронепоезде „Генерал Алексеев“, отбитом у „кадетов“, как говорили красные, и отправлявшимся для ремонта в Торговую.

Еду на бронепоезде. Перед моими глазами по обеим сторонам железнодорожного полотна снова разворачиваются те страшные картины красноармейских зверств над калмыцкими беженцами, о которых я сказал выше: полуголые, часто совсем голые трупы убитых, перевернутые возы, разбросанные вещи, разлетающиеся по ветру обрывки священных калмыцких писаний, разбитые подводы, мертвые, оконеченные тела животных... Для того, чтобы описать виденную мною картину во всем ее ужасе, надо не мое, „среднего грамотея“, перо, а перо большого художника.

Прибыв на ст. Торговую, я обратился в местный совет за подводой, так как железнодорожный мост через Маныч был разрушен „белогвардейцами“, поезда не шли, а большевики в то время даже и не думали об исправлении его, ожидая напора, возвращения „белых“, как это было в 1919 году. Председатель совета категорически отказал мне в подводке, жалуясь на то, что красная конница забрала по реквизиции все, что имелось в селе, и сказал, что, если я увижу хоть одну подводку у местных жителей, то он без всяких разговоров заставит отвезти меня до следующего пункта. Было ясно, что никакой подводки в селе я не найду и, решив не „искать иглу в соломе“, я пустился в дальнейший путь пешком.

Благополучно добрался до ст. Шаблиевка, где случилась со мною маленькая неприятность со стороны „дурных шаблиевских советчиков“. Здесь я предъявил свой документ, требуя кусок хлеба больному красноармейцу, но малограмотные шаблиевцы не только накормить и напоить меня, как красноармейца, отказались, но даже пытались арестовать, считая меня „кадетским шпионом“. Отправили одного солдата с моим документом в Торговую „разузнать“ и тот к утру 24-го февраля вернулся с ответом „отпустить“. Местные советчики стали извиняться перед мною. Но извинение то извинение, но насчет подвод и думать не приходилось. Все как один, отвечали: „да ваши же все позабрали“.

Двинулся и дальше пешком и к вечеру того же дня еле-еле добрался до ст. Великокняжеской, где при входе по жел. дороге на станцию в первой же будке стоял вооруженный пост, проверявший документы возвращавшихся беженцев. Показал бумагу — пропустили, ничего не говоря. Здесь в станице я избегал зайти в совет, думая, что в нем может быть кто-либо из моих знакомых, которые обязательно начнут расспрашивать и допрашивать — „да как, почему, когда?“ — а это ведь длинная история. На ночь в Великокняжеской я остановился у одной казачки А., нечаянно встретив ее на вокзале. Я себя зарекомендовал ей за беженца, идущего домой из Тихорецкой.

Рассказывала она мне о том, как большевики в станице убивали мужчин и женщин „кадетского“ построения, грабили до ниточки, насиловали молодых девиц, из коих, по ее словам, многие с'ума сходили, потом умирали или отравлялись. Передохнув как следует у этой добродушной казачки, утром 26-го февраля, благодарив хозяйку за радушный прием и заплатив ей 200 руб., я отправился в путь — Платовскую станцию, где, действительно, в местном совете очень помогло мне имя Городовикова в деле бесплатного питания и немедленной доставки подводки для меня. Платовский совет тогда гнездылся в флигеле есаула Дакугинова, что стоит на углу базарной площади перед станичным правлением. Должен сказать, что я в ней за сутки своего пребывания, ни одной калмыцкой души, к своему сожалению, не видел и мне не пришлось поговорить с кем либо из калмыков по душе.

Из Платовской станицы хоть раз за весь сказанный свой путь, выехал на бричке, запряженной парой добрых коней. Подводчиком моим был седой старик лет под 60—65, у которого два сына служили у Буденного. Старик с большой радостью рассказывал мне по дороге, как его сыновья привели ему быстро тянущих коней с бричкой и хвастался, что у него три дойных

коровы — тоже сыновьями за „красное время“ нажитые..

Добрые кони, „честным трудом“ солдат мировой революции нажитые, дружно рысют. Перед взором расстилается бесконечная равнина милой и родной Сальской степи, ныне так опустевшая и обезлюдевшая. Старик-подводчик за „пару добрых коней“ так старательно расхваливает советскую власть, красную армию, служба в которой его сыновья имеют возможность быстро и легко „наживать“ и лошадей и коров... Его слова не задевают моего сознания, „как горюх об стену“. Мною овладевают горькие думы, грустные мысли по поводу печальной доли моего родного маленького народа, историческая жизнь которого так печально сложилась и ныне так трагически завершается..

— „Что день грядущий готовит“ ему?

И вот перед нами „ован толга“ — маленький степной курган, на котором в былые времена моя родная станция устраивала праздник весны и который стоит почти на дороге Платовская-Батлаевская. Поровнявшись с курганом, я снимаю шапку и незаметно для старика-кляклянюсь в сторону кургана. В моем сознании ярко встала картина калмыцкой жизни в „старое, доброе время“ и глаза мои невольно наполнились влагой... Старик-подводчик так и не заметил меня, а если он заметил бы и спросил — зорт с ним — готовился сказать о значении этого кургана, о жизни и страдании калмыков.

Едем дальше и родная мне Батлаевская постепенно развстревается перед моим взором. Все ближе и ближе — начинаю узнавать те уголки и места, где я родился, вырос и провел лучшие годы своей жизни, впитывая в себя материнский батлаевский воздух. Знаю трагическую эпопею моих станичников, знаю, что станция опустела и из родных моих там никого нет, но все же радость неопишуемая в душе: приехал в свою родную станцию, в свой отчий дом...

В'ехали в станцию. Смотрю — идет по улице дед Б. С. Не помню, как вспрыгнул с брички — я уже при нем и говорю, говорю без умолку...

Началась новая жизнь в своей родной станице под новой „красной“ властью...

В станице никакой организации охраны не было. Районный совет находился в хуторе Гончуковском. Оставшиеся жители станицы, калмыки, были предоставлены на произвол судьбы, без конца переноса постоянные насилия и издевательства красных солдат, а сама станция находилась в полном смысле слова в состоянии разорения и уничтожения. Местное крестьянское население соседних хуторов, как то: Большая и Малая Крепьяновка, Восьмиановка, Гарбузов и др. из нашей станицы увозило и растаскивало все: хорошие дома, амбары, сельскохозяйственные машины и орудия, словом все, что можно было увезти. Два прекрасные дома коннозаводчиков, братьев Шавелькиных, были таким путем увезены, „украдены“ до основания.

В своей станице, мне пришлось видеть и наблюдать совсем печальное и ужасное положение моей станицы, ее разорение и уничтожение. Часто приезжали то солдаты, то жители окрестных хуторов, бесцеремонно издевались и надругивались над женщинами и девицами совершенно безнаказанно. Некому было заступиться...

Видя все это я, наконец, взяв на себя смелость, обратился в районный совет за содействием и защитой станицы, предлагая принять меры по охране станицы. Совет ничего существенного не сделал, но председатель его, П. Стеценко (коммунист), назначил меня милиционером в станице, снабдил меня винтовкой с 45 патронами. С таким „вооружением“, обремененный полномочием „районного совета“, я начал служить своей станице, как умел и мог.

Трудно было мне бороться с красными бандитами, постоянно делавшими налет на станцию, тем не только ее разрушавшим, но доставлявшим великое бедствие всему населению, мирно жившему. Но все таки присутствие в станице официального представителя власти — в виде милиционера, немного умерило произвол бандитов.

Вскоре после этого, с появлением первых беженцев из Екатеринодара и других мест, в станцию пере-

ехал районный совет. Совет этот обосновался в хуруле, в доме старого бакши, ныне покойного, Нимгирова, и начал было руководить, управлять нашей станицей по-большевицки. Тщательно проверял документы приезжавших домой беженцев. У кого не было пропуска, того сейчас же отправлял в Великокняжескую. Товарищ Стеценко свое общественно-административное управление построил на следующем принципе: он заставлял всех, за исключением глубоких стариков и маленьких детей, нести семидневный наряд при совете, откуда очередной или очередная изволь бежать с пакетом в Платовскую, Денисовскую, Мартыновку, Орловку и т. д. Все должны были нести беспрекословно „общественную повинность“.

Беженцы наши, кто остался жив, возвращались домой голыми и босыми. Но главное, по приезде их домой, тот же Стеценко наказывал по своему: порол плетью, заставлял спускаться в колодезь для очищения грязи на дне, каковых у нас во дворе станичного правления было три. Чистили, убирали и мыли в помещении станичного правления, будущего, как тогда говорили, советского исполкома, также делали „генеральную чистку“ и в помещении приходского училища (оба здания).

Однажды я, в качестве милиционера, наблюдая за работой, производившейся одними и теми же лицами, расспрашивая у них о судьбе своих родителей, эвакуировавшихся с „белыми“, черкнул несколько слов своим родителям. Дело в том, что Стеценко говорил мне о необходимости вернуться в скором времени в свою часть, да и сам я подумывал — чем сидеть здесь, наблюдать страдания своих братьев и голодать, лучше выехать на фронт, а там, может быть, удастся перейти и к своим. Поэтому, не исключена была возможность, что я скоро выеду на фронт. Тогда родители мои, вернувшись из беженства, могли не захватить меня дома. А посему, чтобы успокоить своих родителей, для большей убедительности, что я невредим, для большей уверенности в моем почерке, я написал следующую записку: — „Дорогие родители, папа и мама! Я жив и здоров, но только в руках красных. Не беспокойтесь и не горюйте обо мне. Жив буду — во что бы то ни стало перейду к своим казакам. Ждите меня. Старик Г. Балыков расстрелян. Ваш сын Учур“.

В случае отъезда на фронт, эту свою записку должен был оставить у своего друга, который должен передать ее моим родителям, в случае их возвращения. Но к моему несчастью тогда (ныне считаю великим счастьем, что я вырвался из „советского рая“), человек по имени В. Г., к которому я питал полное доверие во всех отношениях, оказался моим предателем.. Он меня предал тов. Стеценко, передав ему мою записку, прибавив с своей стороны еще, что я, якобы, занимаюсь конспиративной работой против советской власти. Получив такое „очевидное доказательство“ моей „контрреволюционной“ работы, председатель Батсовета поспешил обезоружить и арестовать меня, составив протокол об отправке меня, как кадетского шпиона, в военно-полевой суд в ст. Великокняжескую. При аресте у меня отобрали все и я очутился в таком положении, в каком я был в первый день в Лопанке. Особенно чувствительна и памятна для меня дата 7 по ст. ст. — 20 по в. ст. апреля — день, когда составили протокол и арестовали меня: в этот день мои же товарищи по службе зверски поролы меня калмыцкой плетью, требуя выдачи, по их мнению остальных моих сообщников по тайной контрреволюционной работе.

Пользуясь случаем, что комиссар разрешил мне пойти за вещами, каковых у меня совсем не было, я решил бежать, куда смотрели мои глаза. Дело было в 4 часа по полудню. До поздней ночи скрывался в кустах на берегу Сала и, наконец, в 2 часа ночи 7/20 апреля вышел из кустов и пустился в далекую дорогу, поставив себе целью пробраться в Астраханскую губернию. Безумно бежал, а к 5 часам утра уже прибыл в соседнюю Денисовскую станицу, за три часа покрыв расстояние в 18 верст. Как только прибежал туда, почувствовал сильную боль в пятках, где появились большие волдыри. Смотрю — кругом ничего и никого не видно. Станица пуста, разгромлена. Иду дальше по улице, вижу — из одной землянки клубится густой чер-

ный дым и я направился к ней. На дворе стоял седой старик-калмык, высокого роста, который радушно приютил меня. Я назвал себя старику калмыком-астраханцем, ищущим работу. Делясь впечатлениями, обмениваясь мнениями, старик с ужасом говорил мне об „обычных явлениях“ большевиков в ст. Денисовской. Я ему рассказал об „обычаях“ большевиков в Батлаевской. Старик серьезно ставил вопрос: люди ли это, или звери в человеческом образе? И никак не соглашался со мною, что они — люди.

Вечером 8 апреля я направился дальше через Иловайскую в Кутейниковскую станицу, где скитался около трех недель, живя „зайцем“, в семье... Жена последнего только что вернулась из Новороссийска, потеряв живыми двух своих мальчиков 13 и 15 лет, сама была без руки, которую у нее отрубили большевики, вероятно, для того, чтобы она, неграмотная женщина, своей „контрреволюционной рукой“ не разрушила здание советского государства. Там же, в Новороссийске, на глазах у нее расстреляли мужа! Страдания и мучения ее были и так бесконечны, к этому принес еще новое горе и я...

И так всюду: отрубленные руки, вывороченные внутренности, разбрызганные мозги, выколотые глаза... Всюду смерть, всюду ужас. Во всех калмыцких станицах море крови, слез, бесконечное горе и страдание, голод и холод, плач и рыдания женщин и детей, заячья жизнь мужчин. Постоянные налеты большевических банд, безнаказанные издевательства и надругательства над женщинами...

Во время своего пребывания в Кутейниковской станице я имел „тайную беседу“ с близкими своими друзьями и знакомыми: Д. Д., Д. У., Б. А. и часто приезжавшим туда из Ново-Алексеевской станицы Н. Пуртиновым, который позже, в 1925 году, когда выяснилось, что он был помощником станичного атамана, расстрелян большевиками. Из наших „тайных бесед“ помню о том, как эти лица с большим удивлением рассказывали об одном наиболее интереснейшем выступлении на общем собрании Кутейниковской станицы калмыка-коммуниста Х. Б. Канукова, который в горячей своей речи, указывая пальцем на сидящего тут же старого священника — „эмче гелюна“ — Суксукова, с пеной у рта говорил: ... „ваших кадетов утопили в море... теперь мы в первую голову должны покончить с духовенством, наша программа — уничтожить таких голомозгих гелюнов, а всех остальных будем переселять из соляных степей и проч.“ Также хорошо помню слова Пуртинова, говорившего в „последний раз“ о тех преступлениях большевиков, которые разгромили все калмыцкие станицы до неузнаваемости и совершенно стерли с лица земли его родную, Ново-Алексеевскую станицу...

Долго скрываться и жить в Кутейниковской станице я не мог, хотя были и такие люди, которые советовали и предлагали свои услуги скрывать меня в специально выкопанной, под одним из домов, яме-берлоге, где я должен был жить не выходя никуда, обещались доставлять мне и пищу.

А что стало бы со мною, если я послушался их совета и стал бы жить в их специальном погребе, до „возвращения наших“, как говорили тогда?

Переменив свое первоначальное решение — пробраться в Астраханскую губернию — я решил пробраться на Дон. И ночью под 26 апреля двинулся с моим другом, Б., провожавшим меня до Серебряжковской (тут же ниже Серебряжковской, он указал мне переправу через Сал), а оттуда пустился на Дон, где, после некоторых поисков, нашел место пастуха под именем дербета Санджи Санджиева в хрторе С. Много радости не доставляла жизнь пастуха, торчанье от зары за скотинушками, хотя дело происходило в вольной, родной Донской степи. Особенно неприятно было, когда мой гурт в жаркие майские и июньские дни стрекочился, бешено разбегаясь во все стороны от преследования насекомых. Волей неволей приходилось мне бегать за ним и собирать его. Подчас приходилось и самому „стрекочиться“ от преследования красных палачей.

Жизнь в казачьих станицах была несколько лучше, чем в калмыцких. В них не было тогда еще такого

основательного разорения, разрушения, какие имели место в калмыцких станицах. Такого безнаказанного издевательства, бескрайнего грабежа, зверских надругательств большевики в казачьих станицах не проявляли, как это делали в калмыцких станицах. Очевидно все еще боялись казаков. Но тем не менее и в казачьих станицах жизнь была подавленная. Чувствовалась всеобщая растерянность, подавленность казачьего духа. По крайней мере вслух никто не осмеливался „критиковать“ большевиков, больше молчали, чем говорили.

И только тогда, когда были: или „под градусом“, или в особом, доверительном порядке, казаки высказывали то, что затаили в глубине своей казачьей души. Тогда у них высказывалась звериная ненависть к „московским большевикам“, пришедшим на Тихий Дон истребить род казачий. В таких очень редких откровенных разговорах между собою казаки искали причину поражения борьбы Казачества с большевизмом и в большинстве случаев объясняли это не силою красных, а ошибкой казачьих „вождей“, заключивших „неестественный брак“ с незначительным классом русского народа.

— „Зачем эти непрошеные московские гости к нам пришли, и зачем с ними связались наши „вожди“? — как бы постоянно говорили казаки.

Живя таким образом в хут. С., однажды пришла мне в голову мысль испытать свое счастье, а именно: твердо решил выехать на фронт добровольцем, чтобы оттуда попытаться перебраться на фронт „белых“ (Крым). Приняв такое решение, я обратился к председателю Кумшацкого станичного совета с просьбой, чтобы он выдал мне какое-либо удостоверение для поступления в ряды красной армии. Председатель долго думал и, наконец, сказал, что он не имеет права отправлять меня прямо на фронт, а может только отправить на сборный пункт — в Константиновскую станицу — в красный гарнизон. Но когда я изложил перед ним согласие казаков-большевиков, приехавших в отпуск и через два дня отъезжающих в свои части на фронт (об этом я заранее уговорился с казаками), тогда председатель совета выдал мне удостоверение о том, что я действительно еду на фронт, как доброволец.

Получив такое удостоверение, я с шестью казаками, ехавшими на фронт в свои части, 15/28 апреля выехал из Кумшацкой. На следующей пристани — Романовской — присели к нам еще три казака-красноармейца. Ехали пароходом по Дону... Я тогда не думал, что воды Тихого Дона несут меня в последний раз, унося далеко-далеко в неведомую даль... Питал надежду и мечтал снова возвратиться и увидеть седой наш Дон не красным, а свободным, вольным, покровителем и кормильцем донских казаков, а не красных москвичей. Но, увы!

Прибыли в Ростов, откуда поездом приехали 19 июня на фронт, в 120-й казачий красный полк, который стоял тогда на ст. Малый Токмак, Екатерин. губ. По приезде в полк, казаки разбрелись по своим сотням и взводам, а меня, как вновь прибывшего, за неимением коня, отправили нести службу в обоз 2-го разряда. Этот красный казачий полк, за исключением немногочисленных „ваньков“, состоял из казаков Цымлянкой, Кумшацкой, Романовской и др. станиц и он входил в состав 2-й конной армии, предводимой „вторым Буденным“ — тов. Жлобой. Полком командовал казак Родионов, Кумшацкой станицы.

На другое утро, 20-го июня, в день развязки задуманной „белыми“ операции (разгром Жлобы), красная конная масса была приведена в полное расстройство и, бросив все орудия и обозы, в панике бежала. Рассеян-

ная красная конница Жлобы, арестовав последнего, как предателя (видел своими глазами, как его в черкеске в кандалах гнали по улице вооруженные солдаты), приступила к формированию новых конных частей красной армии. Формирование разбитого 120-го казачьего красного полка происходило на ст. Волноваха, где мне пришлось видеть, из ранее насчитывавшего более 700 сабель полка только 60 всадников. Из приехавших со мною на фронт казаков уцелел только казак Орлов, Романовской станицы, а остальные были убиты, или попали в плен.

По окончании формирования своих частей, красная конница под тем же названием 2-я конная армия, — но уже под начальством нового командира, приехавшего с Польского фронта О. И. Городовикова, начала наступление против „бароновцев“. Тут я, севший на коня, не переставал думать и мыслить об осуществлении моей заветной мечты — перейти через линию фронта к своим братьям-казакам. Должен сказать, что после Жлобинского разгрома, красная армия действовала еще злее и зверски. Был непосредственным свидетелем следующего: попадавших к ним „кадетов“-казаков без суда казнили, мучили, то расстреливали, то вырезали на плечах изображение офицерских погонов, на груди вырезали георгиевские кресты, на лбу изображение кокарды, или просто выкалывали глаза и несчастный, обливаясь кровью, падал, сраженный пулей красноармейца.

Исполняя службу „красного воина“ и с трепетом ожидая подходящего момента для осуществления задуманного плана бегства, я в свои планы никого не посвящал, ибо малейшее недоразумение — и со мною легко могли проделывать все то, что проделывали они и с пленными. Перед тем, как окончательно бежать, много раз мною овладевало сомнение насчет осуществимости моего плана. Сплошной линии фронта нигде не было. Часто случалось так, что нельзя было разобрать — где красные, где „белые“. И я, решаясь на такой смелый шаг, часто задавал себе вопрос: хорошо если „там“ наши, ну, а если по ошибке опять попадешь к красным?

Но в конце концов пребывание под властью красных стало невозможным и я решил попытать свое счастье — будь что будет.

17/30 июля после одного столкновения под с. Жеребец, наш „красный“ полк, потерпев поражение, панически стал отступать, а я спокойно присоединился к бешено скачущим мне навстречу (а красным в догонку) казакам. Так легко и просто осуществилась моя заветная мечта. Это были лихие бойцы 2-го Донского казачьего полка.

А затем мне не стоило никакого труда снова радостно встретиться с своими собратьями, увидеть родные и знакомые мне лица зюнгарцев. Из Зюнгарского полка, при содействии полкового адъютанта Санжи Балыкова, нашел своих родителей, живших тогда в Симферополе, с которыми ныне разделяю все невзгоды эмигрантской жизни.

Так в феврале, оторвавшись от родных своих зюнгарцев, полгода „прослужив“ у красных, я снова присоединился к своей семье.

Мне, побывавшему в казачьих станицах и хуторах, видевшему разорение и разрушение последних большевиками, видевшему те стоны, рыдания и мучения наших отцов, матерей, жен, братьев и сестер, расстреливаемых, ссылаемых и насильственных красными палачами, мне, видевшему и наблюдавшему все это совершенно понятны те вопли отчаяния и зовы о спасении в письмах,

Как смотрит прибывший из Москвы (в Англию) русский на грядущие события в сов. России:

... „В России не верят, чтобы при создавшихся в стране условиях могло бы образоваться какое нибудь новое центральное правительство. Считают более вероятным, что в случае переворота возникнет ряд местных правительств и вспыхнет новая гражданская война“.

(„Возрождение“, 13 июля, 1931, № 2232).